

©2000 г.

**В.А. БАЧИНИН**

## **СОЦИОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО**

---

*БАЧИНИН Владислав Аркадьевич - доктор социологических наук, профессор  
Национальной юридической академии Украины.*

---

"И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити?.. Кто их подметит, и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? Или еще рано?"

*Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ,*

Дневник писателя за 1877 год

После 1861 г., крутого поворота истории Российской империи, давшего начало множеству неординарных событий, в общественном сознании рождались бесчисленные вопросы, требовавшие ответов. Кто мог их дать? Кто помог бы разобраться в их хитросплетениях? Ни научная интеллигенция, ни большинство литераторов, ни учителя, ни духовенство оказались не способны к этому. "Остаются, стало быть, - писал Достоевский, - ответы случайные - по городам, на станциях, на дорогах, на улицах, на рынках, от прохожих, от бродяг и, наконец, от прежних помещиков... Ответов, конечно, будет множество; пожалуй, еще больше, чем вопросов, - ответов добрых и злых, глупых и премудрых, но главный характер их, кажется будет тот, что каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет crescendo. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые разрешения задач хуже хаоса" (т. 25, с. 174)<sup>1</sup>. Как представлялось Достоевскому, просветить толщу новых социальных фактов и объяснить народу, что происходит с ним и с его жизнью, было некому. Существовало бесконечно много проблемных сфер, обособленных уголков социальной жизни, ждавших исследователей - писателей, ученых, философов. Социальный темперамент Достоевского не позволял ему оставаться в стороне от происходящего. Проблемы, волновавшие страну, беспокоили его творческое сознание. И он непосредственно реагировал на них как издатель журналов "Время" и "Эпоха", публицист, автор

---

<sup>1</sup> Здесь и далее при цитировании сочинения Ф.М. Достоевского указываются том и страница Полного собрания сочинений в 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1988.

"Дневника писателя". По воле писателя ряд героев его романов оказываются стихийными социологами, остро интересующимися общественными проблемами, заинтересованно коллекционирующими социальные факты с тем, чтобы за их россыпями увидеть скрытые закономерности. В романе "Подросток" Катерина Николаевна говорит Аркадию Долгорукому: "Вы помните, мы все с вами читали "факты", как вы это называли... Вы помните, мы иногда по целым часам говорили про одни только цифры, считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями... хотелось узнать, куда это все стремится и что с нами самими, наконец, будет" (т. 13, с. 207).

Аналогично рассуждает Лиза Дроздова из "Бесов", излагающая замысел издания книги, в которой были бы собраны факты, события, происшествия, "более или менее выражающие нравственную, личную жизнь народа, личность русского народа в данный момент. Конечно, все может войти: курьезы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй, даже известия о разливах рек, пожалуй, даже некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то, что рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающей все целое, всю совокупность" (т. 10, с. 103-104). В этом же ряду характерное признание Ивана Карамазова, что он любит собирать "некоторые фактики" о состоянии общественных нравов, разбросанные по историческим хроникам, брошюрам, газетным репортажам, судебным отчетам и художественным произведениям.

Достоевский наделил своих героев тем, чем сам обладал с избытком - заинтересованным вниманием к "живой жизни" и способностью восходить от частных случаев к обобщениям и выводам. Так, Версиков ("Подросток"), вырезав из газеты объявление, говорит члену своего семейства: "Вот слушайте: "Учительница подготавливает во все учебные заведения (слышите: во все) и дает уроки арифметики", - одна лишь строчка, но классическая. Подготавливает в учебные заведения — так уж конечно и из арифметики? Нет, у ней об арифметике особенно. Это - уже чистый голод, это уже последняя степень нужды. Трогательна тут именно эта неумелость: очевидно, никогда себя не готовила в учительницы, да вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготавливает во все учебные заведения и, сверх того, дает уроки арифметики. *Per tutto mondo e in altri Sili*<sup>2</sup> (т. 13, с. 87).

Временами герои романов Достоевского предпринимают попытки типологизировать собственные наблюдения над фактами определенного рода. Так, Аркадий Долгорукий формулирует собственную типологию подлецов. К первой категории он относит подлецов наивных, то есть убежденных, что их подлость есть не что иное, как высочайшее благородство. Во второй разряд помещаются подлецы стыдящиеся, чувствующие стыд за совершаемые ими подлости, но при этом они не оставляют намерения довести начатое до конца. Третий тип составляют чистокровные, стопроцентные подлецы. В этом ряду — такие как школьный товарищ Аркадия Ламберт, мечтавший купить дровяной склад, а затем, не дав бедным ни полена, выпотить этими дровами поле, испытыв наслаждение. В роли наблюдателей и собирателей социальных фактов выступают рассказчики-хроникеры Достоевского, от лиц которых ведутся повествования в романах "Бесы" и "Братья Карамазовы". Как истинные "летописцы", вездесущие и скрупулезные фактографы, они обстоятельно излагают события, оставляя читателю широкое поле для толкований, интерпретаций, обобщений и выводов.

Если рассматривать творческую биографию Достоевского, становится очевидным, что его природным интенциям было тесно в рамках художественного творчества. Живший внутри его духовного "я" стихийный социолог действительно искал возможностей приложить свои силы. Так, у героев романов, не имеющих никакого

<sup>2</sup> Во всем мире и в других местах (*итал.*).

отношения к социологии, обнаруживались исследовательские интересы социологического характера. Сам писатель оснащал свои публицистические выступления социологическими зарисовками, этюдами.

Когда Достоевский начинал издавать "Дневник писателя", он полагал, что будет записывать свои впечатления по поводу всего, что поражало его. И характерно, что это оказались в значительной мере впечатления от уголовных дел и судебных процессов. Впрочем, интерес писателя к фактической стороне проблем преступности обнаружился еще тогда, когда братья Достоевские, издавая журналы "Время" и "Эпоха", стали печатать материалы о знаменитых уголовных процессах в Европе, опубликовали переводы восьми очерков из девятитомного труда Армана Фукье "Знаменитые процессы всех народов", вышедшего во Франции с 1857 по 1874 гг.

В основе сюжетов криминальных романов Достоевского лежали, как правило, социальные факты, почерпнутые либо из газет, как в случаях с "Преступлением и наказанием" и "Бесами", либо узнанные из непосредственного общения, как "Братья Карамазовы". Интерес Достоевского к криминальной проблематике не был случаен. Проведший несколько лет в остроге, бок о бок с каторжниками, абсолютное большинство которых были уголовными преступниками, он вобрал в свою душу столько впечатлений от этого, обычно скрытого от писателей и ученых мира, что они не давали ему покоя всю последующую жизнь. По возвращению в Петербург он, чтобы как-то, хотя бы частично, облегчить душу от тяжелого груза впечатлений, пишет "Записки из Мертвого дома" - психосоциологический очерк нравов каторги. С тщательностью аналитика, оказавшегося в ситуации включенного наблюдения, он описывает быт, работу, общение каторжников между собой и с начальством. Попутно дают меткие и глубокие психологические характеристики преступников, предпринимаются попытки типологизировать их массу по тем или иным основаниям. Так, Достоевский выделяет три их разряда. Это, во-первых, "убийцы по ремеслу", к которым относятся разбойники и атаманы разбойников, затем "убийцы невзначай", и, наконец, - "мазурики и бродяги". Приводится и официальная типология криминального контингента. Здесь на первом месте стоят преступники "особого отделения", несущие наказание за наиболее тяжкие преступления, осужденные пожизненно и содержащиеся в остроге вплоть до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. За ними следовали "ссылно-каторжные", лишённые всех прав состояния, осужденные на сроки от восьми до двенадцати лет и к тому же наказанные проставлением клейм на лицах. Третью группу составляли преступники военного разряда, не лишённые прав состояния. Достоевский прекрасно осознавал, что жестокий поворот в его личной судьбе дал ему уникальный материал для осмысления и творчества. И первый его шаг в ситуации владения этим материалом состоял в том, чтобы опредметить свои наблюдения в очерке нравов, сочетавшем жанры художественной исповеди и социологического репортажа.

Суд и каторга были не единственными факторами, заставившими Достоевского сделать проблему преступления одной из ведущих в своем творчестве. В огромной степени этому способствовало то, что пореформенная Россия вошла в фазу радикальных и болезненных перемен, переживая время резкого падения нравов. Социальные факты с криминальным и суицидным содержанием будоражили сознание писателя, взывали к серьезным размышлениям. Почти за каждым из таких фактов напрашивалась цепь умозаключений, ведущих к социальным обобщениям и прогнозам. "Действительно, - писал Достоевский, - проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, - и если только вы в силах и имеете глаза, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира" (т. 23, с. 144). Когда факт оказывался не просто ярким, а вопиющим по небывалости, то потрясенный дух Достоевского не мог на него отреагировать иначе, как скрупулезным исследованием, каковым и становился каждый его философско-криминальный роман. Когда его творческое сознание было занято работой над очередным грандиозным замыслом, впечатления от таких фактов выплескивались на страницы "Дневника писателя".

Достоевского чрезвычайно поразил факт самоубийства двенадцатилетнего гимназиста. Непосредственной причиной гибели подростка, вполне обыкновенного, не распущенного и не буйного, оказались неудовлетворительные отметки и наказание, заключавшееся в том, что его непустили домой вместе со всеми, а оставили до пяти вечера в учебном заведении. Но Достоевский находит более глубокую и сложную причинную зависимость. Он напоминает читателям эпизод из "Отрочества" Л. Толстого с аналогичной историей наказания провинившегося подростка: запертый в чулане мальчик мечтает о том, чтобы собственной смертью вызвать общее сожаление. Но между этими сходными случаями пролегает исторический период, когда в строе дворянской культуры что-то надломилось. Надвинулась другая эпоха с иными умонастроениями. "Мальчик графа Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как они войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь мечтать: строгий строй сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы его мечту до дела, а тут - помечтал, да и сделал... У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся" (т. 25, с. 35).

Исчезновение внутренних нормативно-ценностных преград на пути к самоубийству у детей и взрослых было, в глазах Достоевского, самым тревожным симптомом (т. 22, с. 5—6). В "Дневнике писателя" за 1876 г. Достоевский публикует новеллу "Кроткая". Импульсом к ее написанию послужило чтение газеты "Новое время" за 3 октября 1876 г. В ней сообщалось о самоубийстве молодой девушки: "В двенадцатом часу дня, 30-го сентября, из окна мансарды шестизэтажного дома Овсянникова, № 20, по Галерной улице выбросилась приехавшая из Москвы швея Марья Борисова. Борисова приехала из Москвы, не имея здесь никаких родственников, занималась поденною работою. В последнее время часто жаловалась на то, что труд ее скудно оплачивается, а средства, привезенные из Москвы, выходят, поэтому страшилась за будущее. 30 сентября она жаловалась на головную боль, потом стала пить чай с калачом, в это время хозяйка пошла на рынок и едва успела спуститься с лестницы, как на двор полетели обломки стекла, затем упала и сама Борисова. Жильцы противоположного флигеля видели, как Борисова разбила два стекла в раме и ногами вперед вылезла на крышу, перекрестилась и с образом в руках бросилась вниз, образ этот был лик Божией матери - благословение от родителей. Борисова была поднята в бесчувственном состоянии и отправлена в больницу, где через несколько минут умерла" (т. 23, с. 407-408. Примечания).

Достоевского поразило не столько самоубийство, сколько то, что девушка выбросилась с иконой в руках. По его представлениям чаще сводили счеты с жизнью ни во что не верящие материалисты и нигилисты. "Этот образ в руках, - писал он, - странная и неслыханная еще в самоубийстве черта. Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут, даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто - стало нельзя жить, "Бог не захотел" и - умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду ни просты, долго не перестаете думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль" (т. 23, с. 146).

Достоевский не был социологом в прямом смысле слова, но его наблюдения, предположения, идеи о природе самоубийства и преступлений обладали огромным эвристическим потенциалом и заставляли социологов, криминологов, философов последующих поколений обращаться к наследию великого писателя-мыслителя. При этом его идеи нередко включались в нормативно-семантические пространства и лишались присущей многим из них внутренней антиномичности. Помещаемые в рассудочно сконструированные смысловые сферы, они в итоге обретали упрощенно-схематичный характер и лишались способности высвечивать истинную суть экстраординарных феноменов человеческого существования. Между тем, по убеждению Достоевского, в любом из преступлений присутствует нечто таинственное

и загадочное, непроницаемое для рассудочных усилий научного анализа. Социологическое видение криминального факта должно быть дополнено метафизическим подходом, когда "непостижимое постигается через постижение его непостижимости" [1]. Такой взгляд противоречил установкам развивавшейся западной социологии. Конт, Спенсер, Дюркгейм стремились извлечь социальное знание от метафизических компонентов. Социологическая методология разрабатывала и апробировала теоретический инструментарий, позволявший вычленять социальные факты из контекстов физической и метафизической реальностей. Теоретические рассуждения разворачивались при этом, как правило, в плоскости однозначной социальной детерминации. Согласно ее логике, определенные социальные причины вели к появлению тех или иных социальных фактов и обстоятельств, которые, в свою очередь, порождали новые поколения социальных следствий. Последние становились причинами социальных обстоятельств, и т.д. Эта методологическая схема стала оборачиваться редуцированием предметов исследований, объяснениями известного через известное, тиражированием рационалистических трюизмов.

Во второй половине XIX в. за социологией успел закрепиться образ рассудочной дисциплины, довольно суховатой, прагматичной, пронизанной духом "фактопоклонства". Западное сознание, склонное к рассудочности и прагматизму, спокойно воспринимало подобный образ молодой науки. В российской же культуре отношение к позитивистски ориентированной социологии не было однозначным: рядом с пылками апологетами были те, кто не испытывал ничего, кроме разочарования.

Достоевский литературно-философским творчеством демонстрирует эти умонастроения. Он ясно видит и преимущества и слабости социологического метода. Отдавая должное первичной рациональной обработке массивов социальных фактов, он признает его инструментальную полезность. Но для него неприемлем позитивистский подход, приведший к тому, что у социальной мысли оказались обрублены "метафизические крылья", в результате чего на нее легла печать бездуховной приземленности и она лишилась способности к "метафизическим взлетам". Достоевский видел бессилие социологии и ее "логарифмов", тщету ее "эвклидовых" усилий там, где требовалось проникнуть в глубинную суть социального бытия, связанную с противоречиями человеческой природы, с коллизиями внутренней жизни индивидуального духа, трагедиями преступлений и самоубийств. Его раздражала своей самодовольной ограниченностью теория определяющего влияния социальной среды на личность преступника, перечеркивающая вопросы свободы и нравственной ответственности. Для Достоевского социологический и метафизический подходы к проблеме преступления - разные методы, способные дополнять друг друга. Если социологический метод при построении объяснительных моделей не шел дальше обнаружения ближайших социальных детерминант, то метафизический метод заставлял устремляться за пределы реальности, туда, где пребывали "причины причин", первопричины сущего.

Метафизический способ постижения социальных реалий имеет дело с номенальным, абсолютным содержанием социальных фактов. Опираясь на религиозно-этические и философские основоположения о существовании Бога, души и ее бессмертия, которые в принципе не верифицируемы и пребывают вне рассудочных доказательств или опровержений, метафизическая методология позволяет усматривать в социальных проявлениях добра и зла символы сверхличных энергий социального мира. Исследователь волен брать социальный факт в ограниченном пространстве сугубо социальных детерминант, либо отбрасывать эти ограничения и рассматривать тот же факт в беспредельности трансцендентного контекста мировой онтологии.

Достоевский, относившийся с вниманием к социологии и метафизике, оставил немало глубоких суждений об их познавательных возможностях, их "плюсах" и "минусах" (т. 23, с. 144-145). Ищущий разум человека способен теряться перед ведущей в тупик ограниченностью социологического метода и перед очевидной непостижимостью истины средствами метафизики. В итоге он оказывается в познавательно-экзистенциальном тупике, для иных чреватом самоубийством. И здесь

понятна позиция тех, "кому миллиона не надо, а надобно мысль разрешить". Там, где цена истины приравнивается к цене жизни, миллион выглядит пустяком, которым нетрудно пожертвовать ради истины.

С. Булгаков обращал внимание на то, что вопросы, о которых рассуждают герои Достоевского, имеют ипостаси социологическую и метафизическую. С социологической точки зрения они выглядят как проблемы социализма, анархизма, социальной переделки человека, а с метафизической - как вопросы о Боге и бессмертии души. Взаимопроникая и переплетаясь, эти два модуса чаще составляют единое целое.

В главах "Братья знакомятся", "Бунт" и "Великий инквизитор" Иван, до этого "загадка", "сфинкс" для читателя, впускает в свой закрытый внутренний мир брата Алешу. При этом он выступает одновременно в трех творческих ипостасях - как социолог (собиратель "хорошей коллекции" социальных фактов о состоянии нравов), литератор (сочинитель поэмы "Великий инквизитор") и мыслитель-метафизик. В социологической "коллекции" Ивана три раздела, состоящие из фактов азиатского происхождения, из свидетельств, почерпнутых в изданных в Европе хроник, брошюр, газет, и из так называемых "русизмов". Они свидетельствуют об одном - о необычайной, превосходящей всякие пределы преступной жестокости и кровожадности человеческого существа.

Из азиатской и европейской социальных практик Иван приводит по одному факту - о чудовищной жестокости турок в Болгарии, зверски терзавших грудных младенцев, и историю темного, неграмотного, полудикого убийцы Ришара, который в швейцарской тюрьме за время следствия был обучен грамоте, обращен в христианство, осыпан благотворительными милостями, а затем гильотинирован на площади в просвещенной Женеве. Далее следует подборка из четырех "русизмов". Первый из стихотворения Некрасова о том, как мужик сечет, пьянея от разгорающейся ярости, завязшую с тяжелым возом лошаденку по "плачущим, кротким глазам". Затем два факта из Судебных хроник об истязаниях детей образованными родителями. Последний факт почерпнут Иваном из архивного сборника о том, как генерал-помещик затравил гончими восьмилетнего мальчика. К каким же выводам приходит социолог, собиратель этих любопытных "фактиков"? Их у него три, и во всех его мысль, подобно могучей птице в тесной клетке, бьется в кругу социологических детерминант и стремится вырваться за их пределы.

Вывод первый. Природа человека такова, что даже цивилизация не в состоянии изменить ее к лучшему. Человек остается агрессивным и жестоким, каким он был в эпоху варварства. Разница между русским и цивилизованным европейцем лишь в том, что жестокость последнего обставлена большим количеством социальных условностей. Вывод второй. Дьявол объективно не существует, и создало его человеческое воображение, сотворив его по образу и подобию человека. Третий вывод даже затруднительно назвать выводом; это, скорее, вопрошающая констатация, исполненная трагического недоумения: "Ничего не могу понять, для чего все так устроено". Почему на земле так много преступлений и страданий? Зачем люди их нарочно приумножают, терзая друг друга? Почему зло, а не добро определяет ход социальной жизни? Непомерная жестокость людей по отношению к себе подобным, будучи непреложным фактом, тем не менее не укладывается в сознании, не поддается рациональному объяснению и вызывает нравственный протест. Разум заходит в тупик в попытках понять ее смысл. Отсюда парадоксальный вывод Ивана-социолога: "Я ничего не понимаю... я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу остаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте..." (т. 14, с. 222). Эта тирада, произнесенная будто в бреду, чрезвычайно верно могла бы охарактеризовать положение позитивной, контовско-дюркгеймовской парадигмы с ее "фактопоклонством". Иван Карамазов, словно дельфийский оракул, пророчествует о судьбе науки, остающейся "при фактах". Для нее это путь спасения в настоящем и одновременно гибели в будущем. Держась за факты, она сможет достаточно долго оставаться самой собой. Но, держась только

за них, она рано или поздно перестанет что-либо понимать и давать удовлетворительные объяснения фактам. "Эвклидовский рассудок" позитивной социологии, нагруженный знанием социальных фактов и отвечающий на вопросы "что?", "где?", "когда?" и "как?", будет теряться при вопросах "почему?" и "зачем?".

Иван отбрасывает расхожие объяснения, согласно которым все в конечном счете укладывается в логику поступательного движения вверх по лестнице цивилизации. Для него неприемлема рассудочная "эвклидовская дичь", оправдывающая бесовский хаос, внутри которого существует человеческий род. Его не удовлетворяют попытки объяснений, ссылающихся исключительно на социальную среду. Если бы он брал только "русизмы", их можно было попытаться объяснить с социологических позиций неблагополучием российской действительности. Кстати, именно так объяснили главный "русизм" романа "Братья Карамазовы" - отцеубийство - прокурор Ипполит Кириллович и бывший семинарист Ракин. Первый увидел в этом преступлении продукт разрушения российских социальных основ, а второй - следствие застарелых остатков крепостничества и современных социальных беспорядков.

Но Иван привлекает факты не только российской, но и европейской и азиатской действительности, примеры из настоящего и прошлого, сознательно универсализуя проблему, интересуясь не столько фактами, сколько человеком, его природой и сущностью. В русле этой универсализации дополнительные факты ничего не прибавят и к ответу не приблизят. Неизбежен момент, когда от фактов и от методологии "фактопоклонства" необходимо оторваться и предпринять новые усилия совсем иного рода. И Иван осуществляет то, что можно назвать вертикальным взлетом: он преобразуется из социолога в метафизика. Заметно меняется его лексикон; в центре оказываются иные понятия: Бог, вечность, Христос, горние силы, высшая гармония, искупление и др. И это несмотря на то, что перед Алешей не клерикал-ретроград, а выпускник естественного факультета столичного университета.

Для Достоевского Иван Карамазов - метафизический герой, разыгрывающий личную экзистенциально-метафизическую драму и устремляющийся в максимально отдаленную от жизненной суеты область "последних вопросов". Там, в этой области все безмерно выше человеческого разума; можно лишь безоговорочно принять то, что есть, положившись на высшую премудрость Провидения. Для того, кто наталкивается на эти вопросы, лучше оставаться в пределах бессознательно-доверчивого отношения к устоям наличного миропорядка, в границах веры в высшую справедливость, которая на то и существует, чтобы в конечном счете все поставить на места и воздать каждому по заслугам.

Драматизм положения Ивана заключается в том, что он не способен ограничиться ни примитивным коллекционированием "фактов", ни бездумно-покорной верой. Он не в состоянии остановиться на полпути, тем более вернуться в дорефлективную спячку, ибо по своей сути рожден мыслителем, для которого истина важнее миллиона. Ему важно понять, как совмещается благая премудрость творящего первоначала с безмерной массой бессмысленных злодеяний, которыми переполнена жизнь.

Ивану Карамазову, как и создателю этого образа, гораздо труднее стоять и удерживаться на позициях теодицеи, чем европейским философам XVII-XVIII вв., поскольку на них успела лечь печать Просвещения, рационализма и позитивизма. От них требовалось несравнимо более упорное и энергичное сопротивление духа, чтобы противостоять напору рационалистических стереотипов. Взыскуя "мира горнего", русская теодицея развернулась в противоборстве с силами, каких не знала эпоха европейского Барокко, - с нигилистическими рефлексиями естественнонаучных открытий, с влиянием идей, с настроениями приземленного реализма-натурализма в искусстве, с влияниями европейской неоромантической антроподицеи, точнее, "эгодицеи" Штирнера. Все это сообщало ей необычайную экспрессивность и напряженность.

Иван не находит достаточных духовных сил, чтобы удержаться на позициях теодицеи. Это становится совершенно ясно, когда он раскрывает содержание своей поэмы "Великий инквизитор". Его незаурядный литературный дар позволяет ему

найти новый ракурс в освещении проблемы, касающейся природы зла, насилия и преступления. Герой поэмы, испанский кардинал, убежден в том, что человек по природе низок, податлив искушениям, склонен к порокам и преступлениям и ему противопоказана свобода, поскольку он не способен употребить ее иначе, как во зло. Реальность такова, что взгляды Ивана во многом совпадают со взглядами Великого инквизитора. Для обоих люди - это в большинстве "недоделанные, пробные существа". Им свобода не по плечу. Однако среди них встречаются иные: умные, волевые, властные, возвышающиеся над остальными и сознающие, что они владеют бесценным даром - свободой. Но трагическая диалектика бытия такова (и это мысль уже скорее Достоевского, чем Ивана), что эти люди отчего-то склонны прислушиваться не к воззваниям Бога, а к коварному зову Искусителя, духа разрушения и гибели. В их руках свобода оборачивается вседозволенностью и преступлениями.

На протяжении романа Иван высказывает рискованные суждения, суть которых в том, что если мир, который он не приемлет, лежит во зле, и люди, населяющие его, погружены в зло как в трясину, то нет надобности рядиться в "белые одежды" святости и можно перейти на сторону умного и могущественного духа - Дьявола, как это сделал Великий инквизитор. Страницы, где Иван Карамазов излагает свое кредо, вряд ли можно отнести к образцам утешительного чтения. Впрочем, в этом нет нужды, если учитывать, что метафизическому умозрению изначально чужд пафос морализирования. Устремляясь вперед, оно не останавливается перед доводами охранительного благоразумия и готово рисковать, даже если ему грозит опасность обвинения в имморализме. Этот метафизики совсем в ином. Ей со времен Декарта присущ взгляд на мышление как на акт героизма, поскольку, чтобы действительно помыслить нечто, необходим риск. "Нужно рискнуть и выдержанно постоять в горизонте риска. А это трудно..." [2].

Иван Карамазов, а с ним и Достоевский, не просто стоят в горизонте метафизического риска, а готовы идти вперед все дальше. Автор при этом посылает героя идти до конца, когда впереди не останется ничего, кроме разверстой бездны "мыслепреступления". Исполненная дерзкого авантюризма мысль Ивана не страшится бездны, поскольку в ее мраке мерещится образ истины, и этот призрак заслоняет вид самой бездны, убивает страх перед ней.

Что же, таким образом, прибавляется к исходным фактографическим посланкам Ивана Карамазова в результате перевода социологической проблематики на метафизический уровень? Поставленная им проблема обретает полноту освещения и глубину проработки, которую она вряд ли обрела бы, оставшись на социологическом уровне. Но главное, она претерпевает экзистенциальную транскрипцию и обретает глубоко личностный характер, позволяя герою Достоевского сформулировать свое жизненное кредо. Социальные факты, прежде существовавшие сами по себе, включены в личную картину мира, а знание о человеке вообще становится знанием о себе и своем "я". В пунктах соприкосновения социологии и метафизики обнаруживаются универсальные экзистенциалы, абсолютные ценности и высшие нравственные истины. Приближение сознания к полю их смыслов означает, что имевшиеся у него знания о социальных фактах накладываются на шкалу ценностных абсолютов. В итоге факты обретают дотоле неочевидный, метасоциологический смысл.

Такая шкала крайне необходима социальным наукам, литературе, искусству, всем формам культуры. Особенно остро нужда в ней ощущается в переходные эпохи, когда рушатся системы ценностей, возникают сумятицы оценок, представлений и многие перестают отличать порок от добродетели, преступление от доблести. Достоевский с горечью писал о публицистах, имеющих дело с социальными фактами, но не умеющих отличить добро от зла. По их мнению, главная задача состоит в том, чтобы писать "либерально" и "прогрессивно". "Но как написать либерально? - он уже и не знает, забыл... Написать о них с отвращением и ужасом он не смеет рискнуть: а ну как выйдет нелиберально, и вот он передает, на всякий случай зубоскаляя" (т. 21, с. 156).

Возможности сугубо социологического осмысления фактов нравственно-этического и



уголовно-правового характера имеют, по-видимому, пределы. Пройдет несколько десятилетий после смерти Достоевского, но степень умения социологии обращаться с морально-правовыми фактами практически не возрастет. В 1920 г. П.А. Сорокин с грустью отметит, что человечество «до сих пор бессильно в борьбе с социальными бедствиями и не умеет утилизировать социально-психическую энергию, высшую из всех видов энергий. Мы не способны глупого делать умным, преступника - честным, безвольного - волевым существом. Часто мы не знаем, где "добро", где "зло", а если и знаем, то сплошь и рядом не способны бороться с "искушениями"» [3].

Неспособность поверхностной фактографии отличать добро от зла - не обязательно черта переходной эпохи. Нечто подобное может происходить в относительно стабильные времена, если это периоды господства наследников Великого инквизитора, делающих все, чтобы люди утратили высшие нравственные ориентиры, а с ними и сознание своего предназначения. В "Преступлении и наказании" Достоевский писал: «У нас есть, дескать, факты!» Да ведь факты не все, по крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умеешь!» (т. 6, с. 106). Умение обращаться с фактами социология получает от метасоциологии, методологические принципы которой производны от метафизики. Только на первый, весьма поверхностный взгляд может показаться, что метафизика бесполезна для решения конкретных задач познания. Лишь неискушенному рассудку она представляется "надмирной", оторванной от земного и насущного. В действительности же она практична по большому счету, поскольку, заметил Ж. Маритэн, открывает человеку подлинные ценности в их истинной иерархии, помогает прочно стоять на земле. "Она поддерживает справедливый порядок в мире своего познания, обеспечивает естественные границы, гармонию и соподчинение различных наук. И это гораздо необходимее человеческому существу, чем самые роскошные цветы математики феноменов" [4].

Вряд ли ищущая человеческая мысль не заинтересована в том, чтобы сохранять истинную направленность своих усилий и при этом различать ценностные ориентиры. Метафизика стремится убедить разум в существовании вечного и абсолютного, в том, что в социальных фактах присутствует нечто, выходящее за их пределы и вообще за пределы рассудочного понимания.

Достоевский сознавал, что познавательные возможности привлекавшей его молодой социологической науки отнюдь не безграничны. В те моменты, когда он понимал это наиболее отчетливо и остро, в его, сознании рождалось чувство, похожее на то, что Декарт называл интеллектуальной печалью. Трудно предположить, чем бы эта печаль обернулась, если бы не интеллектуально-метафизическая интуиция гениального писателя-мыслителя. Она сообщала ему уверенность в том, что под покровом действительности скрыта реальность, не похожая на эту, и что она более реальна, чем та, на поверхности которой рассыпаны очевидные социальные факты.

В отличие от социологического рассудка, сознательно рвущего с мифологией, мистикой, религией, интеллектуально-метафизическая интуиция не теряет с ними связи, выступая нередко их преемницей. Если язык социологического рассудка носит преимущественно денотативный характер, стремясь обнажать доступные ему социальные смыслы, то язык метафизической интуиции конотативен и предполагает в тех же фактах присутствие словесно невыразимых подтекстов. В отличие от трезво-осмотрительного рассудка, и не пытающегося посягать на непостижимое, метафизическая интуиция стремится помыслить немислимое и говорить о неизрекаемом. Она убеждена, что у морально-правовой реальности имеется, кроме очевидной, и другая, ненаблюдаемая жизнь, что эта реальность многомерна, многоуровневая и уходит корнями в сверхкаузальный мир, где пребывают причины причин, откуда исходят высшие императивы, задающие людям модели социального поведения.

Та сила, что вела Раскольникова к преступлению, в это же время подталкивала Россину к катастрофе. В условиях воцаряющейся анонимии любая случайность могла оказаться решающей, никакие чисто социологические выкладки не могли дать достоверных знаний и надежных прогнозов на будущее. На этом уровне была

очевидна необходимость во взаимодополняемости социологии и метафизики. Мощная интенция на подобное взаимодополнение пронизывает творчество Достоевского. Эта методологическая интенция, присущая ему, как никому иному, говорит об особом месте и особой роли Достоевского в генезисе социологии преступления.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Франк С.* Сочинения. М., 1990. С. 559.
2. *Мамардашвили М.К.* Лекции о Прусте. М., 1995. С. 144.
3. *Сорокин П.А.* Система социологии. Т. I. Пг., 1920. С. 42.
4. *Маритэн Ж.* Метафизика и мистика. Париж, 1926. С. 69.